

Глава первая

«Понять, чем человек отличается от ангела, очень просто. Ангел по большей части внутри, а человек — снаружи». Это слова шестилетней Анны, которую еще называют Мышка, Пчелка и Радость-моя. В пять лет Анне был ведом смысл жизни, она без тени сомнения знала, что такое любовь, и была личным другом и помощником мистера Бога. К шести она была видным теологом, математиком, философом, поэтом и вдобавок садовником. Если вы задавали ей вопрос, то всегда получали ответ — рано или поздно. Иногда его приходилось ждать неделями или даже месяцами; а иногда, когда время было подходящим, ответ приходил тут же — прямой, простой и в самую точку.

Восемь ей так и не исполнилось: ее жизнь унес несчастный случай. В это мгновение на ее прекрасном лице сияла улыбка. «Бьюсь об заклад, мистер Бог теперь возьмет меня на небеса», — сказала она. Бьюсь об заклад, что так оно и вышло.

Я знал Анну всего каких-нибудь три с половиной года. Кто-то претендует на то, что первым обогнул земной шар в одиночку, или высадился на поверхность Луны, или совершил еще какой-нибудь беспримерный подвиг. Весь мир слышал об этих храбрецах. Обо мне не слышал никто, но и мне в веках досталась частица славы: я был знаком с Анной. Для меня это стало величайшим приключением, которое вырвало меня из тисков повседневной жизни и в которое я погрузился с головой. Я узнал ее так, как она хотела, чтобы ее узнали: прежде всего изнутри. «Мой ангел по большей части внутри»; именно так я и научился видеть и воспринимать ее — моего первого ангела. С тех пор мне встретились еще два ангела, но это уже совсем другая история.

Меня зовут Финн. Ну, то есть это не совсем правда; мое настоящее имя особого значения не имеет, потому что все друзья взяли моду звать меня Финном, да так оно и приклеилось. Если вы знаете ирландские легенды, то, наверное, помните, что Финн был очень большой; так вот, я тоже*. Росту во мне шесть футов два дюйма, а весу — шестнадцать стоунов**; я помешан на спорте, обожаю копченые колбаски и изюм в шоколаде — только не вместе, конечно; мать у меня ирландка, а отец из Уэльса. Любимое мое занятие — шататься в доках среди ночи, особенно если погода стоит туманная.

* Финн — в ирландской традиции герой, мудрец и провидец, отец героя и поэта Ойсина (Оссиана). — *Здесь и далее примечания переводчика.*

** Почти 1 м 90 см и сто с лишним килограммов.

Анна вошла в мою жизнь именно в такую ночь. В ту пору мне было девятнадцать. Я бродил по улицам и переулкам с сумкой, набитой хот-догами; нимбы влажного туманного сияния окружали фонари, из мгливой тени на миг проступали какие-то темные бесформенные фигуры и тут же растворялись вновь. Дальше по улице сияла теплым газовым светом витрина булочной, разгоняя ночную сырость. Под окном на крышке люка сидела маленькая девочка. В те дни в ребенке, шатающемся по улицам среди ночи, не было ничего необычного. Мне и раньше случалось такое видеть, но на этот раз все было как-то по-другому. Что именно было по-другому, я уже не помню, но сам факт сомнений не вызывал. Я примостился возле нее на люке, прислонившись спиной к стене магазина. Так мы просидели часа три. Сейчас, спустя тридцать лет, вспоминая эту ночь, я вполне могу это допустить, но тогда я чуть копыта не откинул. Такие ноябрьские ночи, наверное, бывают в аду: у меня чуть кишки узлом не завязались от холода.

Возможно, уже тогда ее ангельская природа взяла надо мною верх; я готов поверить, что с самого начал был околдован ею. Я сел рядом со словами: «А ну-ка, подвинься, Кроха». Она подвинулась, но не сказала ни слова.

— Хочешь хот-дог? — спросил я.

Она покачала головой и пробормотала:

— Он же твой.

— У меня их куча. Кроме того, я уже сыт.

Она ничего не ответила. Я поставил свою торбу на крышку люка между нами. Света от витрины было мало, да и девочка пряталась в тени, так что я не мог как следует разгля-

дочь ее. Правда, было ясно, что она грязна до крайности. Под мышкой у нее была зажата тряпичная кукла, а на коленях лежала облупившаяся коробка с красками. Минут тридцать мы просидели молча. Готов поклясться, что за все это время ее рука лишь один раз робко потянулась к котомке с хот-догами, но я не стал ни смотреть туда, ни комментировать это событие, чтобы не спугнуть ее. Даже сейчас я помню острое удовольствие, которое охватило меня при звуке лопающейся от укуса маленьких зубок кожицы сосиски. Минуту или две спустя она взяла еще один, а потом еще. Я полез в карман и вытащил пачку дешевых сигарет.

— Не возражаешь, если я покурю, пока ты ешь, Кроха? — спросил я.

— Чего? — Она почти испугалась.

— Можно я закурю, пока ты ешь?

Она повернулась, встала на колени на скамейке и заглянула мне в лицо.

— Почему ты спрашиваешь? — поинтересовалась она.

— У моей мамышкы пунктик на вежливости. И вообще нехорошо пускать дым в нос леди, когда она ест, — честно ответил я.

Несколько секунд она тарасилась на полсосиски, зажатой у нее в кулачке, а потом подняла на меня глаза и спросила:

— Почему? Я тебе понравилась?

Я кивнул.

— Тогда кури. — Она подарила мне улыбку и засунула в рот остаток сосиски.

Я вытащил сигарету, прикурил и протянул ей спичку, чтобы она могла ее задуть. Она как следует дунула, и меня обдало брызгами сосиски. Этот маленький инцидент произвел на нее такое впечатление, что я почувствовал, будто бы меня ударили ножом в живот. Раньше мне случалось видеть, как собаки съеживаются от страха и поджимают хвост, но я не ожидал подобного номера от ребенка. Взгляд, который она на меня бросила, привел меня в ужас: дитя искренне ожидало порки. Она стиснула зубы и ждала, что сейчас на нее обрушится удар.

Что отразилось у меня на лице, я не знаю, — то ли гнев и ярость, то ли потрясение и замешательство. Что бы это ни было, в ответ она издала душераздирающий жалобный писк. Даже сейчас, спустя все эти годы, я не в силах описать этот звук — слова не идут мне на язык. Это чувство до сих пор живет у меня в сердце — тогда оно болезненно екнуло, и внутри меня что-то прорвалось. Я сжал кулак и что было силы грохнул им по тротуару — беспомощный жест перед лицом ее страха. Не тогда ли мне в голову пришел тот образ — единственный, который подходил к ситуации и всегда вспоминается мне с тех пор? Жестокость насилия — и бесконечный ужас и растерянность Христа, распятого на кресте. Я ни за что не хотел бы вновь услышать тот кошмарный звук — писк насмерть перепуганного ребенка. Он ударил меня в самую душу, так что у меня дыхание перехватило.

Через пару секунд я рассмеялся. Думаю, есть предел горя и муке, которые способен вынести человеческий рассудок. После этого он отказывает. Это со мной и случилось. Мой чердак рвануло капитально. О следующих нескольких ми-

нутах я почти ничего не помню — кроме того, что смеялся, и смеялся, и смеялся, а потом вдруг понял, что и она смеется вместе со мною. Не было больше съездившегося комочка страха — она смеялась. Встав коленями на тротуар и наклонившись вперед, так что ее личико оказалось совсем близко к моему, она заливалась смехом. В последующие три года я часто слышал ее смех — вовсе не похожий ни на серебряные колокольчики, ни на журчание ручейка; это было радостное курлыканье пятилетнего существа, нечто среднее между щенячьим тьяканьем, шумом мотоциклетного мотора и чавканьем велосипедного насоса.

Я положил руки ей на плечи и отодвинул от себя, чтобы как следует рассмотреть. Тогда-то передо мной и предстала Анна во всей своей красе — рот широко открыт, глаза вытаращены, будто у собаки, в восторге рвущейся вперед и натянувшей поводок. Каждая клеточка этого крошечного тела трепетала и пела; ножки и ручки, ушки и пальчики — все ее маленькое существо содрогалось, словно мать-земля, готовящаяся дать жизнь вулкану. И, бог ты мой, что за вулкан получился из этого ребенка!

Там, возле булочной, в доках, сырой ноябрьской ночью я был удостоен увидеть, как на свет появилось дитя. Когда волна смеха понемногу спала, а тельце все еще продолжало дрожать, словно скрипичная струна, по которой прошелся смычок, она попыталась что-то сказать, но слова никак не выходили. Наконец ей удалось выдавить: «Ты... ты... ты...»

Еще несколько отчаянных усилий, и я услышал: «Ты ведь любишь меня, правда?»

Даже если бы это не было правдой, даже если бы от этого зависело спасение моей жизни, я не смог бы сказать «нет»; правильно или неправильно, правда или ложь, но другого ответа у меня не было. И я сказал: «Да».

Она хихикнула и, уперев в меня пальчик, произнесла: «Ты меня любишь», — а потом пустилась в какой-то первобытный пляс вокруг фонарного столба, распевая: «Ты меня любишь. Ты меня любишь. Ты меня любишь».

Минут через пять она вернулась и снова села рядом со мной на крышку люка. «Тут попой сидеть и тепло, и приятно, да?» — сказала она.

Я согласился, что попа чувствует себя здесь отлично.

Потом она вздохнула и добавила: «А пить я совсем не хочу». Тогда мы встали и двинулись в паб, что был дальше по улице. Там я купил большую бутылку «Гиннесса». Она захотела «такую имбирную шипучку, у которой шарик в горлышке». Поэтому мы зашли еще в ночную лавку, где она получила целых две шипучки и еще несколько копченых колбасок.

«Теперь пойдём обратно и ещё погреем наши попы», — радостно улыбнулась она мне. И мы пошли назад и уселись на крышку люка — рядышком, большой и маленький.

Думаю, нам удалось выпить едва ли половину того, что у нас было, потому что шипучие напитки непременно надо хорошенько потрясти, а потом любоваться, как пенная струя бьет из бутылки в воздух. Несколько раз приняв имбирный душ и наглядно продемонстрировав мне, как можно пускать носом пузыри, она заявила: «А теперь давай ты».